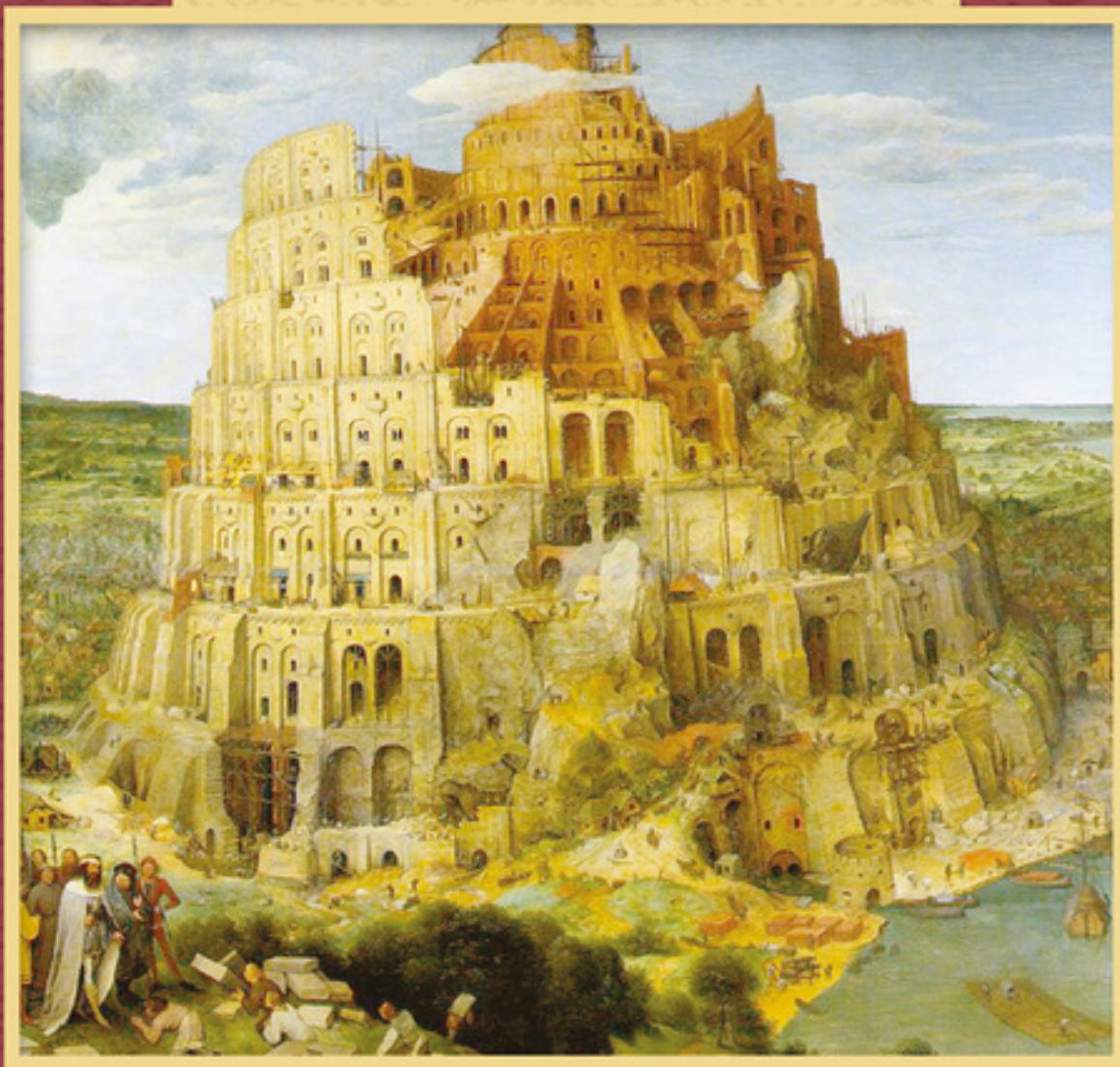


Геннадий
ПИСКАРЁВ



АЛТАРЬ

БЕЗ БОЖЕСТВА

Геннадий Пискарев
Алтарь без божества

«Пробел-2000»

2011

УДК 821.161.1-321.2 Пискарев
ББК 84.(2Рос=Рус)6-44

Пискарев Г. А.

Алтарь без божества / Г. А. Пискарев — «Пробел-2000», 2011

ISBN 978-5-98604-284-8

Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом брэнном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества. Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

УДК 821.161.1-321.2 Пискарев

ББК 84.(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-98604-284-8

© Пискарев Г. А., 2011

© Пробел-2000, 2011

Содержание

Путь к преображению	6
Часть I. Животворящая святыня	8
Воспоминаний длинный свиток	8
Люди в прошлое влюблены	13
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Геннадий Пискарев

Алтарь без божества

© Пискарев Г. А., 2011

Путь к преобразению

Предшественник великого русского мыслителя В.И Вернадского, указавшего основную цель нового творческого, духовного эона бытия ноосферы, философ-космист, называемый еще «философом памяти», Николай Федорович Федоров дерзновенно писал в оригинальных трудах о том, что развитое нравственное чувство личности требует спасения буквально всех погибших, всех утраченных. Он вел речь о возможности «воскрешения» и преобразования прошлого, призывал живых обратиться сердцем и умом к минувшему, дабы не произошло одичания «сынов человеческих», превращения их в «блудных сынов, пирующих на могилах отцов». Произойди это, пишет мыслитель, и в человеке не будет не только любви, но и правды. Положение усугубится, если излишек силы, процент на капитал, полученный от отцов, употребится на невежественное слепое рождение (читай животное существование – Г.П.), а не на просвещение и на возвращение его кому следует.

Философ предчувствовал: такое вполне может случиться. И не ошибся. Невежественное теперешнее наше существование, удаление от истинного собственного просвещения поставили на грань выживания подлинного хозяина Святой Руси. Недруги наши копают под нас со всех сторон, говоря с желчью и злобой: нет, и не может быть такой нации – русский. Русский – есть прилагательное, в то время как другие нации мира определяются существительным: еврей, немец, француз, китаец. Ну, и так далее. Да, нас лишают национального самосознания, мы сейчас и не русские даже, а россияне, русскоязычные – без соответствующей записи в паспорте. Нам не дают вспомнить, что мы тоже когда-то были именем существительным, а не прилагательным. Русс! Какая это часть речи? А «гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс!» Что это?

Самодовольно погрязшие в низшей свободе, свободе метаться во все стороны, изведывать все искусства, лишённые возможности спокойного духовного общения, подспудно мы все-таки чувствуем гибельность навязанного нам образа жизни. Раздробленное, расколотое государство, разбитые вдребезги совесть и честь не соединённых общим делом людей, не могут стать залогом поступательного движения.

«Действительно спастись, то есть возродить и увековечить свою индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только сообща или вместе со всеми» (Н. Ф. Федоров). Обратим внимание в этой глубокомысленной фразе на слово «возродить». Возродить – значит восстановить, что было когда-то. «И Бог воззовет прошедшее» (Екклесиаст). Он делает это без нашей помощи. Но в том-то и величайшая милость Всевышнего: он позволяет сотворенному из праха человеку соработничество с Собой. Грех, непростительный грех, не принять сие от Творца всего сущего.

Собрав свои скудные силы и возможности, попытался и я оживить свою память, поведать хотя бы о том, чему был свидетелем сам или слышал от старших товарищей, родных и близких, тех, кто нес в душе любовь к Отчизне, божество общего дела, наполняя, украшая тем самым главное место в Христовой церкви – алтарь.

Понимаю, насколько ничтожна тут лепта моя. Но, отойдя от высокоумных мыслей, поведаю басню, которую рассказала мне, кстати, младшая дочка Наташа, представительница времени нового. Что, в общем-то, весьма симптоматично.

Ежик пришел к Сове, попросил объяснить, к чему у него чешется передняя левая лапка? Сова объяснила. «А правая?» – спросил колючий. И на это ответила мудрая птица. «Но у меня и задние лапки чешутся», – продолжал донимать Сову незадачливый зверек.

Что же сказала на это «толковательница примет»?

– Помойся, ежик.

Может, и нам всем следует помыться, смыть «мерзость запустения», почистить себя, пусть не под Лениным, как это делал Маяковский по собственному признанию, а под более мощными и благодатными «энергетическими струями», без коих и Земля бы была мертва. Как (непотребная) пустыня.

(Последняя строка, не правда ли? – что-то пушкинское напоминает. Сравнивая нечеловеченную, а стало быть, и бездуховную планету нашу с пустыней, поэт-пророк не дал ей в миниатюрном шедевре своем нужного определения, поставил перед словом пустыня многообразие. Да, простит Александр Сергеевич мне наглость и самомнение – я окрестил, как видите, пустыню непотребной. А, может, и нет в том ничего крамольного? Ведь я рискнул назваться, хотя и ничтожным, да соработником Бога. И Он не отверг, кажется, моего намерения).

Геннадий Пискарев

P.S. Название книги «Алтарь без божества» – (должен предупредить читателя) есть по большому счету антитеза содержанию общего повествования, в ходе которого оперирую больше фактами добрыми и благочестивыми, несмотря на то, что они имели место в советской стране и были вызваны к жизни соответствующим режимом.

И еще. Говоря о единении людей того времени, их победах в битвах за урожай ли, или за высокие показатели в соцсоревновании, я не убираю из материалов цифр, подтверждающих достижения в производительном труде. С них, с этих достижений, начинались в ту пору все новостные передачи на телевидении, радио, в печати. С них – а не с леденящих, разрушающих волю и душу сообщений о непрекращающихся катастрофах теперь.

Часть I. Животворящая святыня

*О, года! – серебряные нити,
Не одной из вас я не порву.
А, напротив, сердцем к вам прикикну,
Жизнь вторую с вами проживу.*

Г.П.

Воспоминаний длинный свиток

Как трудно с годами писать четко и ясно, с твердым, не подлежащим сомнению, твоим собственным представлением о том или ином явлении, событии, человеке. Вероятно, это происходит от того, что жизнь подошла к определенному пределу и в этот момент, как давно уже говорят старые люди, она в одно мгновение пробегает перед глазами. В стремительном калейдоскопе мелькают картины доброго и злого, высокого и низкого, безудержно веселого, радостного и страшно-тоскливого, отчаянного – всего того, что, как амплитуда, колебалось в мятежной душе не протяжении не простого жизненного пути.

И все-таки даже в это смутное время возьмет да и посетит тебя счастливый миг, когда прошлое встает очищенным от всевозможных мерзостей и пакостей. И тогда начинаешь понимать смысл слов, сказанных Оноре де Бальзаком, что воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто не сможет изгнать. Точно: воспоминания, память, это уже мое утверждение, как вдохновение поэта, величавы и искренни и, как духовный порыв, чисты и бескорыстны.

Как часто всплывает в воображении моя родная деревенька Пилатово с ее простодушными жителями, бревенчатыми серыми избами, от которых веяло какими-то древними поверьями, где зарождались некогда народные песни и сказки, загадки и былины. Как вожатый из пушкинской «Капитанской дочки», она возникает перед моими глазами то из-за плотной пелены падающего с небес и вихрящегося в метельном танце снега, то в курящейся синей дымке жаркого лета, когда она, стоящая на взгорке, под проносющимися над нею белоснежными облаками, кажется, плывет в необъятную небесную ширь и высь – к Богу.

Видится отчий дом с прикрылечным темным колодцем, со дна которого можно было узреть небесные звезды в яркий солнечный день. Слышатся порою таинственные шорохи и ощущаются таинственные тени, падающие от ликов святых, что смотрели с почерневших икон, озаряемых колеблющимся желтым светом, исходящим от зажженной перед ними посеребренной лампы. А то вдруг стиснет сердце цепеняще-тревожный трепет – страх, какой одолевал в вечерние часы при чтении в одиночестве гоголевского «Вия» или «Страшной мести».

Я вижу горящую в алмазном убранстве березу, двурогий месяц над покатою заснеженной крышей картофелехранилища, с которого отчаянные парни скатываются лихо на тупоносных охотничьих лыжах вниз. А мне, смотрящему на них через разрисованное морозом окошко, кажется: не с крыши слетают ребята, а непосредственно с позолоченного лунного диска.

Нет теперь обители детства, колыбели души моей – отчего дома и укутанной маревом таинственных видений родной деревни с непонятным названием Пилатово, отмечавшей свой престольный праздник ежегодно 10 августа, называвшийся (также непонятно для меня) – «Смоленская».

Воспитанник осовеченной школы, я в ту далекую, детскую пору не думал, конечно, о происхождении этих названий. Только впоследствии, когда приехал на учебу в Москву, обогло меня при посещении Новодевичьего монастыря открытие: я увидел там храм преподобной матери Смоленской – Святой девы Марии, давшей по Божьей воле земному миру Бога-сына – Иисуса Христа. И начали в моем сознании облекаться в некую логическую цепочку странные мистические явления, например, что отец мой, как и несколько десятков односельчан, погиб во время Великой отечественной войны не где-то, а под городом Смоленском, от которого целым остался после кровавого урагана (по свидетельству матери, побывавшей там) только один почерневший, грозно-величественный, стоящий на высоком холме Смоленский кафедральный собор.

А что, если и Пилатово каким-то дивным корнем связано с именем прокуратора Иудеи (римской провинции) Понтием Пилатом, обрешенным за грехи людские на мучительную казнь более двух тысяч лет назад Бога-сына. Да, быть такого не может! О, чего только быть не может на белом свете. Вон через поле от нашей деревни стоит старинно-русское, с исконно русскими людьми поселение Глебовское, верхняя часть которого носит сугубо татарское имя «Курмыш». Конечно, татары здесь были, не тысячи лет назад, но все-таки, все-таки...

«Божий дух гуляет, где хочет». Это утверждение евангельское.

*Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины.*

Так писал «старик Державин». И подтверждение сему нахожу я порою, извините за нескромность, в собственной нескладной, грешной, а где-то прямо таки мистической судьбе. Мне 10 лет. Хожу в четвертый класс. Бабушка Варвара Ивановна, 21 ноября ведет меня насильно к обеду в храм Архангела Михаила – архистратига Христова воинства, что находится в пяти километрах от нас в селе Контеево. Потом я, Гена Пискарев, руководствующийся воспитанной во мне лютой самокритичностью, сам про себя напишу разоблачительные стихи в стенгазету.

*По улице гуляет
Ветерок-проказник,
Отсталый люд справляет
Религиозный праздник.*

Однако, не напишу я о том, как в церкви, дивясь красоте алтаря, очаровавшись ангельским пением женского хора на клиросе, незаметно для всех давил на лбу выскочивший прыщ. После обедни пришли мы в гости к бабушкиной сестре Матрене Ивановне, невестка ее, кареглазая, острая на язык женщина, увидев красное пятно на моем лбу, язвительно молвила: «Вон, как Генка Богу-то молился, аж лоб расшиб». Посмеялись.

Поздно вечером, в потемках возвращались домой. Я, бабушка и мать моя – Мария Михайловна. Спустились в овражек. И не заметили, как со склона его сиганула сзади на нас тройка лошадей, запряженная в «пошовежки», на которых валялись пьяные мужики. Мчащиеся взмыленные лошади разметали по сторонам бабушку, мать, а я, сбитый коренником, оказался под полозьями «пошовежек». Истошные крики матери и бабки не были услышаны развеселой братией. Тройка неслась, не сбавляя ходу, вместе со мной, зажатым под днищем. Я ничего не помнил. Очнулся под Глебовским, на краю дороги, вывалившимся из-под опрокинувшихся санок вместе с хмельными ездоками. Бугристая, избитая колеями, чуть припорошенная первым рыхлым снегом земля. И мать, неведомо откуда получившая силы, чтобы гнаться за разгоряченными лошадьми более двух километров, настигнуть их и перевернуть

повозку, откуда я должен бы вывалиться не иначе как разбитым вдребезги. Но я бодро поднялся на ноги, на мне не было ни одной царапины, не случилось, видимо, и сотрясения. Чудо? Скажите, что нет.

Но какой ангел-хранитель, прикрыл меня крылом своим, за что оказал такую милость архистратиг Михаил, в храме которого утром стоял с бабушкой Варей?

Странно, но эту историю я вскоре забыл и вспомнил лишь через 11 лет – 21 ноября. Мы, гвардейцы-таманцы, глубокой ночью возвращались с армейских дивизионных учений в свою воинскую часть. Я вел плавающий танк «ПТ-76», позади башни которого, на прогретой броне трансмиссии, под брезентом дрых безмятежно десант. Каким-то образом мы выскочили на асфальтированную трассу. Движения никакого. И мы рванули по ней. Кстати «ПТ-76» может развивать бешеную скорость – до 60 км в час на пересеченной местности. А тут асфальт. Выскочили на мост – за ним крутой поворот. И вдруг чуть ли не в лоб откуда-то взявшаяся машина. Резко зажимаю фракцион правого поворота – и танк мой, многотонная махина, со скользкого асфальта летит под откос насыпи, проделав боковой переворот, называемый у летчиков иммельманом. Десант, как грибы из лукошка, сыплется на мерзлую землю. Меня инерционная сила отбрасывает с сиденья водителя на аккумуляторные батареи – спасает голову ребристый шлемофон, а тело – упругая меховая куртка. В воздухе с танка слетают гусеницы и, перевернувшись, он падает на дно откоса «разутый», катки глубоко вязнут в земле, что и гасит возможное дальнейшее вращение, даруя тем самым всем нам дальнейшую жизнь.

Это было, вероятно, не только спасение – предупреждение: умерь гордыню, задумайся, уясни, что же ты делаешь, не сообразуясь с великими принципами человекостояния – добра и совести на этой земле. Молодой, горячий, подкованный марксизмом-ленинизмом, разумеется, лично я в ту пору не больно-то размышлял над происходящим, над странными этими случаями. Где мне было знать тогда, что и «случай есть мощнейшее мгновенное проявление божественного провидения».

Это сейчас, когда заново пришлось прочитать Пушкина не по школьной и даже не по университетской программе, кое-что дошло до меня. (Чтобы полностью понять Александра Сергеевича надо быть гением – мысль С. А. Есенина), и я вслед за поэтом-пророком твержу:

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалеюсь и горько слезы лью;
Но строк печальных не смываю.*

И не смыть. Когда душа просится к Богу, вспоминается и этот случай из детства. После проливных ливней река Кострома, что течет рядом с нашей деревней, чуть ли не выходит из берегов. Я, мечтавший стать моряком, демонстрирую одногодкам, им 7 лет, свою удаль и ловкость – бросаюсь бесшабашно в крутящуюся реку и плыву к противоположному берегу. Достигнув его, поворачиваю обратно. И где-то на середине пути чувствую: плыть дальше нет сил. Кричу, захлебываясь. Одногодки, стремглавы, разбегаются по домам. Но откуда-то взялся Леша Петрухин, недавно вернувшийся из военного госпиталя, где залечивал фронтовые раны. Какие, мы не знали, но рваный шрам, пересекающий Лешино лицо ото лба до подбородка, даже нас, ребяташек, приводил в ужас. И вот этот полуживой человек кидается ко мне, барахтающемся в водовороте, и вытаскивает за волосы на берег.

Он скор умрет – дядя Леша Петрухин, в сельской больнице. Заводил рукояткой трактор ХТЗ, компрессией рукоятку рвануло в обратную сторону и упал механизатор на сырую землю без чувств... Неокрепший организм простыл. И... А, может, простыл он немного раньше? О,

Господи, прости меня грешного, «хвалившегося» перед ребятами деревни, что выплыл я сам (свидетелей-то не было), а Леша Петрухин пришел на реку удить рыбу.

*О человек!
Черта начальна Божества...
Откол е произошел? – безвестен.
А сам собою быть не мог.*

Это цитата из грандиознейшей оды «Бог», изучаемой на всех философских факультетах мира, кроме наших отечественных. Автор – екатерининский солдат, действительный тайный советник и многих орденов кавалер, выходец из крестьянского сословия, упомянутый выше Гавриил Романович Державин, благословивший, «сходя в гроб», «наше все» – А. С. Пушкина.

Сколько же было в деревеньке моей рядовых сельских тружеников, копающихся вечно в земле, и навозе, великих умов и высоких душ. Но мы, (и я, в частности) племя молодое, незнакомое, говоря словами гения, верили только славе и не понимали, что между нами, «может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствующий ни одною егерскую ротую, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе».

Запоздало, увы, пришло ко мне понимание и признание величия «родового гнезда», о котором, ушедшем, уже в небытие (причины темны и загадочны, как убийство С. А. Есенина, судьба коего, считаю, есть олицетворенная тайна бытия и умирания многострадальной Родины нашей), написал цитированные в первых своих книгах стихи.

*Великое мое Пилатово –
Деревня в двадцать пять домов.
От поезда с разъезда пятого
Я вновь бежать к тебе готов,
Учю дух тепла коровьего,
Увидеть за рекою лес
И липы дедушки Зиновьева,
Что держат свод седых небес,
Как дедко Павел, глаз слезящийся,
В углу иконам бьет поклон.
Над образами нимб светящийся,
Но то не нимб, а шлемофон
Танкиста, заживо горевшего.
Прости, Архангел Михаил:
Твой лик на фото сына грешного
Старик в божнице заменил.
Какое вещее деяние
В крестьянской рубленой избе –
Земных, небесных сил слияние
В страданье, вере и мольбе.
О Русь моя! Тебя оплакивая,
В Москве, сквозь злато куполов
Я зрю великое Пилатово,
Святых и грешных земляков.
Пока вы были, смерды, пахари,
Цвела страна моя, но вот
Не стало вас. Россия ахнула*

*И покачнулся небосвод.
А я, кого лишь ваша силушка,
Уже последняя, поди,
К верхам из грязи в князи вынесла,
Застыл, и боль горит в груди:
В деревне родной липы спилены.
Потомства не от кого ждать.
И кто ж теперь даст снова силы мне?
И мне свои кому отдать?*

И грызет сожаление, совесть, что не смог (не созрел в свое время умом и сердцем) рассказать о судьбах крестьянствующих односельчан, записать великорусский говор, яркий, мудрый, своеобразный, богатый великими смыслами, отливающий необыкновенными оттенками чувств, человеческой красоты.

Ах, если бы была жива та деревня и я бы, не давний с наивной душой мальчишка, а отесанный грубым рубанком жизни мужчина, смог бы встретиться с ней. Я положил бы к ногам ее все, что скопил-приобрел за долгие годы, и что делал, уверен теперь, лишь бы только добиться признания ее и одобрения. Её – и никого больше.

Люди в прошлое влюблены

Зимнее ранее утро. Базарные ряды на площади нашего районного центра Буй-города. Того самого, упомянутого еще А. Н. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: – «Кабак, тюрьма в Буй-городе». В эту тюрьму засадили некогда Савелия-богатыря святорусского за то, что он «немца Фогеля живого закопал». А нынче вот крестьяне из окрестных деревень распродают здесь привезенную с личных подворий снедь: картошку, морковку, лук, свеклу и прочее, прочее. В колхозе денег не платят, а налог государству и страховка исчисляются в денежном выражении. Да и ту же телогрейку, портки и рубашку не купишь за просто так. Стало быть, и толкуются крестьяне-колхозники каждый базарный день, а это четверг и воскресенье, не дома в деревне, а в городе. Нередко и мы, крестьянские дети, составляем компанию родителям своим, стоим за прилавком.

Я, кстати, восьмиклассник, человек уже образованный, знающий, зазываю сейчас горожан на свою сторону (мать побежала до промторга, где выкинули дешевенький ситец), объясняю городским покупателям вдохновенно и увлеченно сколь полезен для сердца, зубов и желудка товар мой – отборный чеснок. В азарте не замечаю, что кто-то, стоя неподалеку, в сторонке, внимательно наблюдает за мной, бойким просвещенным торговцем. Кто-то – школьный учитель истории, Борис Иванович, приехавший в город, чтобы посмотреть в кинотеатре «Луч» новый художественный фильм (когда-то еще дойдет он до нашего глухого края), посетить районную библиотеку, посмотреть журналы, газеты.

– Ну и ну, – не выдерживает школьный историк, подходя к ученику, т. е. ко мне: – ни дать ни взять: Алексашка Меньшиков.

Борис Иванович, до кончиков ногтей городской человек, романтично настроенный, посланный в школу нашу по распределению, видел окружающую сельскую действительность в розовом цвете, но нами был очень любим, любим за открытость, душевность, за умение с юмором, а не с ожесточением смотреть на наши проказы, граничащие порой с хулиганством. Помню, мой одноклассник, Юра Колесников, отвечал на уроке на вопрос, какие-такие жесткие меры предприняли впервые в истории для населения англичане во время Англо-бурской войны? Юра, вообще-то знает, что это было создание каких-то небывалых до селе лагерей, но выговорить замысловатое слово не может, и вместо лагеря концентрационного у него получается концентрический. Все хохочут и учитель вместе со всеми. Утирая слезы, он обращается к Юре:

– Что же мне делать с тобой, Колесников?

– Да посадите его в концентрический лагерь – и вся недолга, – язвительно подсказываю я. Новый взрыв хохота. А учитель? Учитель тоже, похоже, по достоинству оценил предложение-шутку. Ни нотаций не стал читать мне, ни одернул грубо.

Мне вспомнился наш историк, однако не потому, что окрестив когда-то меня Алексашкой Меньшиковым, он как бы предрек судьбу мою, что с непонятной, незримой, космической силой вела замурзанного деревенского мальчишку к высотам государственного управления (последняя должность моя – начальник отдела Администрации Президента России – ведь это не шутка), – я вспомнил Бориса Ивановича как прототипа своего в какой-то мере по характеру и взглядам на захолустную деревню. Я, как это ни странно, смотрел на «селянскую» жизнь с улыбкой, влюблено и романтично, хотя сколько там было всего – грязного, грубого, спорного.

...Ходит по утрам, наряжая на работу колхозников, пьяненький бригадир дядя Паша Виноградов. А пьяненький-то дядя Паша почти всегда. Наверное, глядя на него, разразиться бы надо гневной тирадой, но нет, умиротворенно смотрю я на бригадирскую слабость, вспоминая слова жены его, тетки Лиды:

– Когда мой Паша умрет, его без бальзамирования, сразу можно положить в мавзолей – проспиртован.

Другой фигурант: Вася Коромыслов, напился, свалился в заиленный пруд. Вытащили его, сняли грязную одежду, обрядили во что пришлось: сухие ветощаненькие штаны, в залатанный пиджачишко:

– Иди, иди домой, Вася, жена будет ругаться, скажешь: не пропил, мол, не прогулял, новый костюм приобрел.

Проиленную одежду гуляке завернули в газету, с чем под мышкой и плелся он по деревне под веселыми взглядами соседей, приговаривавших:

– Свой-то костюм бережет Василий, в газетке носит.

А вот другая картина. Мишка Кашин (по прозвищу «Крепкий»), деревенский удалой гармонист, после шальной гулянки в соседнем селе возвращается зеленым лугом домой. На лугу – деревенские гуси. Мишка ловко цапает одного. Открывает крючки на планках гармошки (крючками к планкам крепятся мехи музыкального инструмента), ловко засовывает гуся в ребристую полость. Защелкивает крючки и, пилякая какую-то мелодию, спокойно проходит мимо хозяйки «гусяного стада» в сторону овинов, где муж той же хозяйки, Иван Куков, топит специальные печи для просушки зерна.

– Иван, – окликает его блаженно Мишка, – ставь бутылку, будем гуся жарить.

Спустя некоторое время, Мишка и истопник урчат, как жирные коты, над запеченным гусем. Выпивают, закусывают. Иван похлопывает лихого гармониста по плечу:

– Ох, Мишка, ох, плут.

А вечером дома слышит он стенанья хозяйки: гусь пропал. Тут до Ивана доходит: ведь он его с Мишкой-прохвостом съел. Скормил своего гуся, да еще и бутылку нахалу за это поставил.

Тут вообще-то мне хотелось бы сделать некое отступление – сказать свое слово о дружбе с «зеленым змием» односельчан моих в середине 20 века и жестоком алкоголизме, поставившим на грань вымирания народ наш, теперь. Я не оправдываю тех, кто пил тогда, не ставлю в пример их сегодняшним, потерявшим человеческий облик пленникам «свирепого джина» Мне хочется сказать, что в моей деревне, к примеру, абсолютно не знали до начала сороковых годов горячительных напитков – о самогоне слухом не слыхивали. Пиво – солодовое, домашнее, темное, очень близкое по качеству и свойствам к средневековой медовухе, да, варили. Делалось оно (хорошо помню дедовскую технологию) так. Сначала проращивалось ячменное зерно. Когда оно набухало, давало росток, входило, что называется, в пору особой жизненной силы, его подсушивали и мололи. Получался солод – основа пивной закваски.

Этот солод укладывали слоями в огромные глиняные горчаги, чем-то напоминающие греческие амфоры или кавказские винные кувшины – только без узкого горла.

Дно горчаг устилали ржаной соломой, которой потом перемеживали и слои солода. Содержимое заливали чистой водой, взятой из самого глубокого в деревне колодца. В каждую горчагу заливались, примерно, около двух десятилитровых ведер жидкости. Затем горчаги ставились на ночь на кирпичный «под» протопленной печи. Пиво варилось. Сваренным его поднимали на «желоба» – длинные тесины с продольными углублениями, которые ставились наклонно на деревянные подставки. У горчаг внизу были отверстия, кои затыкались при варке. А после установки емкостей на желоба – их выдергивали, и сваренная густая консистенция, называемая суслон, стекала в подставленный под тот или иной желоб лагун – огромную деревянную бочку, заклепанную снизу доверху. Наверху лагуна находилось небольшое отверстие, через которое в бочку засыпали ягодные дрожжи и головки хмеля. Хмель у нас рос диким образом по берегам реки Тёбзы. Но деревенские пивовары предпочитали хмель выращивать сами на огородах. Помню, почти у каждого хозяина стояли, как воткнутые пики былинных дружинников, высокие шесты, обвиваемые зеленым, с терпким запахом, растением.

Суслон в лагунах бродило, пена «каблуком» рвалась наружу через отверстие наверху.

Кстати сушлом, несброженным, угощали в праздники и нас, ребяташек.

Не было лучше лакомства. А перебродивший напиток (пиво) подавался гостям, к застолю. Подавался в деревянных ковшах – «братинах», которые шли среди гостей по кругу. Кстати, хмельная влага не будоражила психику людей, не рвала душу, не погружала ее в отчаянную злобу или депрессию – она пробуждала в человеке какое-то миролюбие, желание повеселиться, потолковать с соседом. О, сколько интереснейших разговоров удалось мне подслушать за такими застольями в детстве! Записать бы их, да ума не хватило, воспроизвести сейчас – не один бы, свой уже, «Тихий Дон» можно было создать.

После пивного охмеления человек обычно спокойно засыпал, а поутру совершенно не испытывал специфического синдрома.

Горчаги снова заливались водой. Содержимое, выдержанное в них, шло в дело тоже, – превращалось в квас, великолепный, ядерный, шибаящий в нос. Его еще приправляли протертым хреном.

Самогон пришел к нам после войны, оставшиеся в живых бойцы, инвалиды без рук, без ног, с ранениями головы глушили физическую и душевную боль суррогатным крепчайшим пойлом, к которому посредством «наркомовского пайка» приучились еще на фронте. «Ох, война, что ты сделала, подлая...»

Молодое поколение, родившееся в конце 30-х годов, кумирами коего были фронтовики, увы, неосознанно, но потянулось тоже к «злодейке с наклейкой». То была, правда, пора, когда водка пила, говоря словами Твардовского, не потому что хороша – для славы. Не испорченный ранее, с хорошим генофондом народ не узрел тогда в этой вползающей в светлое нутро русского человека беспощадной, разрушительной силы, равно как спустя несколько десятилетий, не поняли мы в начале великой беды, творимой оголтелой демократией.

Над выходками пьяниц, мы частенько в те, не столь далекие времена просто подшучивали, рассматривали их как анекдот какой-то, не судили строго. И сами, попадая в хмельные переплеты, не очень-то переживали и раскаивались.

Но лиха беда – начало.

Люди, в организмах которых от рожденья дремал ген алкоголизма, расчесав его, как рану, стали довольно быстро спиваться, гибнуть. Те же, кто не носил в себе коварного динамитного заряда, опустошали тело и душу постепенно, долго, а пока продолжали под снисходительные взгляды окружающих куролесить, веселиться, вовлекая в свой круг все большее и большее количество «непосвященных». Вскоре стало казаться, что эти граждане составляют как бы ядро общества, правят им – как лидируют ныне в определенных высоких сферах люди нетрадиционной половой ориентации на Западе. Да и застолья на всех уровнях становились нормой, а напоить, скажем, приехавшего большого начальника на предприятие ли, или в регион вменялось чуть ли не в обязанность подчиненным. Противиться этому не хватало никаких сил. Да что там, депутат Верховного Совета СССР, трезвенник, старовер, Герой Социалистического труда, гремевший на всю страну полевод Терентий Мальцев, получив для реализации в особой секции ГУМа список продовольственных товаров, увидев, что среди них разных сортов водка значится в десяти позициях, ринулся с этим списком ни к кому-то – самому Генсеку ЦК – тогда Юрию Андропову. Тот, взглянув на алкоголизированный перечень, удивился немало, поинтересовался: сколько же вообще у нас в стране потребляется этого спирта на душу? Ему привели статистику. Генсек многозначительно посмотрел на Терентия, который лишь прошептал:

– Господи, Юрий Владимирович, страна-то у нас под наркозом. Не пропасть бы, как империи Майя.

И меры для спасения нации, советского народа стали немедленно приниматься. Сорвал их неразумными действиями перестройщик-катастрофщик «Лимонадный Джо», отмечающий юбилейные даты свои теперь не в родном, преданном им Отечестве, а за рубежом, у «заклятых друзей».

Оглядывая свой собственный жизненный путь, карьерный рост с сожалением приходится констатировать, этапы большого пути сопровождались, увы, попойками, тесным общением с людьми пьющими и наливающими. Вначале все это смотрелось, повторю, забавно и весело.

Вспоминаю момент зачисления меня, корреспондента районной газеты, в штат областного партийно-советского печатного органа. Редактор Александр Бекасов (Албек, так называли его коллеги-журналисты) беседует со мною прежде, чем отдать соответствующий приказ.

– Последний вопрос, Геннадий, водку пьешь?

Что ответить? Сказать, что не пью, не поверит, Признаться, что употребляю – можно и повредить себе. Мнусь, пожимаю плечами:

– По обстоятельствам, Александр Петрович.

Бекасов с интересом глядит в мою сторону и вдруг дает вводную:

– Посылаем мы тебя, скажем, освещать ход отчетно-выборного собрания в колхозе. Там по окончании, конечно же, организуют ужин, корреспондента пригласят, разумеется. Будет выпивка. Каковы твои действия в таком случае?

– Сяду рядом с большим начальником, – соображаю я быстро, – и стану смотреть, как он поступает. Выпьет рюмочку и я выпью.

– А если он выпьет вторую?

– И я вторую.

– А если третью? – Албек вскидывает брови.

– И я третью, – подхватываю, не моргнув глазом.

Редактор в смятении продолжает:

– Ну, а если он четвертую выпьет?

Я хитро улыбаюсь и, не торопясь, произношу:

– Вот тут мне надо подумать.

– Правильно, – радостно поддерживает нового находчивого сотрудника Александр Петрович. – Думай, у начальника-то машина есть, а у тебя нету.

Вечером на берегу реки Оки в шалмане «Голубой Дунай», в каждом городке были подобные заведения тогда, обмываем с коллегами, старшими товарищами мою новую должность – собкора областной газеты. Рассказываю о беседе с редактором. Коллеги-наставники внимательно слушают, и когда в рассказе дохожу до того места, где ограничиваю себя в выпивке четвертой рюмкой, Вася Шапкин, матерый журналиста, с рубильником-носом назидательно произносит:

– Гена, норма областного корреспондента литр.

Надо, однако, сказать: в областной газете решил я начать новую жизнь, от выпивок всячески уклонялся. И вскоре новые сотоварищи пожаловались на меня моему бывшему редактору из районной газеты.

– А твой протеже и не пьет вовсе.

Кузькин Михаил Гаврилович (литературный псевдоним Михаил Воронежский), мой недавний непосредственный начальник, в компании с которым пришлось провести немало развеселых минут и часов, нашелся-таки, что ответить на «укоризну»:

– Это я ему не велел. – Произнеся сие весомо и внятно, он, как понимаете, и меня не подвел и себя не опустил.

Поэт милостью божьей, член Союза Писателей СССР, рецензии на творчество которого писал в центральной прессе даже Виктор Астафьев, очарованный его даром (да и как не плениться такими, скажем, стихами:

*«Прикосновения ладони,
Боящиеся, словно ос,
Весною в степи рвутся кони,*

Туда, где травы в полный рост»), –

Михаил Гаврилович, как и многие широкие, поэтические натуры был, чего греха таить, слабоват по части горячительного. Много знающий, обладающий неиссякаемой фантазией, где реалии, как в рассказах лицейского друга А. С. Пушкина – Кюхельбекера, зачастую тесно сплетались с невероятно похожим на правду вымыслом, в который он верил и сам – Кузькин-Воронецкий был главной фигурой на всех творческих вечерах, встречах с писателями, устраиваемых тогда в огромном количестве и на предприятиях, и в колхозах, и в совхозах. Благодаря тому же Кузькину, имевшему массу друзей среди поэтов, к нам в Медынь (там располагалась районная редакция газеты «Заря», где мы работали) на «лоно природы» частенько приезжали столичные знаменитости. Безусловно, их тут же «брали в плен» директора то ли нашего льнозавода, леспромхоза, или какой-либо сельскохозяйственной артели. Начальники вели «пленников» в клуб – в массы, и начинался общий праздник с обильным хлебосольем, откровениями-выступлениями. Тогда еще вездесущими представителями особого рода деятелей далеко не везде были созданы платные, прибыльные только для них, многочисленные агентства по пропаганде литературных знаний, и те же писатели, приезжавшие к нам, довольствовались в основном радушием и обожанием народа. Но, вероятно, это стоило дорого. Помню, я тогда уже работал в областной газете, как «нарисовался» у нас в Калуге агент-пропагандист с особым нюхом на шальную деньгу Александр Гольдберг и как Анатолий Ткаченко, известный литератор, проживающий в городе атомщиков Обнинске, нутром почуяв, во что будут превращены бывшие безденежные, душевные встречи с тружениками, простыми людьми (в клон бездуховного агитпропа), заявил в сердцах и по поводу предпринимателя-просветителя: «Пока этот делегата крутится в калужском писательском отделении, – я туда ногой не ступлю».

Но все это будет потом, а сейчас председатель колхоза имени Ильича Иван Петрович Гуч с клубной трибуны голосом Левитана, манерно, торжественно объявляет собравшимся здесь односельчанам:

– Друзья! К нам приехали в гости великие поэты современности Старшинов Николай, Воронежский Михаил, – косится в мою сторону и, ничтоже сумняшеся, столь же высокопарно добавляет, – Геннадий Пискарев.

Публика распрекрасно знает Геннадия Пискарева: мои заметки в райгазете – под собственной фамилией и под псевдонимами печатаются в каждом номере по несколько штук. Так, выходит, Пискарев-то еще и великий. Девчонки-селянки не сводят с меня, холостяка, восхищенно-влюбленных глаз. Ко всему в распространяемой тут же «Заре» напечатаны стихи колхозного агронома, грузина Нукзара Папашвили, отрабатывающего после окончания Тимирязевской академии положенный срок в медыньском хозяйстве. Под стихами написано: перевод с грузинского Геннадия Пискарева. Да... Не каждое девичье сердце устоит перед этим. Милые простушки, где им догадаться, что в грузинском языке я ни бэ, ни мэ, а стихи с начала до конца написал без подстрочника, уловив просто напросто смысл, заложенный в них грузином Нукзаром.

Но, тем не менее, и собравшиеся, и мы в эйфории. И более всех, кажется, Михаил Гаврилович. Слышу: в следующий раз он обещает колхозникам привезти на встречу с ними, ни много, ни мало, – самого Юрия Гагарина.

– Я с ним, если хотите знать, – вещает разговорившийся редактор районки, – на днях, будучи в Москве, выпивал. Да, да, сидели мы в гостинице с другом моим, комендантом Кремля, чего-то скучно стало, он и говорит, позову-ка Юру сюда. И позвал. Тот быстренько подскочил, тяпнули по стакану, по второму, третьему. По четвертому наливаю, Юрий деликатно останавливает: «Извините, я сейчас на встречу с пионерами еду. Буду в Медыни – погуляем».

Ясное дело, не приехал Гагарин к Кузькину, но рассказ его потряс тогда всех. И потом, где бы ни появлялся мой начальник, зазывали его в гости весьма убедительно: «Миша, заходи, Гаврилыч, дорогой, ну, хоть соврешь, не дорого возьмешь, душу порадуешь».

После нередких таких радований приходил редактор поутру в свое заведение сильно «смурной». Мой стол, ответственного секретаря редакции, находился перед его кабинетом. Кузькин шагал мимо, не глядя в мою сторону. Из кармана брюк Гаврилыча, бывало, торчала бутылка – для опохмелки. Ловким движением бутылку эту я незаметно выуживал. Через некоторое время из кабинета руководителя раздавался вопль:

– А-а-а, редактора не уважают, водку воруют!

Приходилось идти, отдавать заветную. Кузькин добрел, созывал планерку. Наскоро проведя ее, подносил всем и себе по стаканчику. По второму каждому уже не хватало. Кого-то, стало быть, надо было «уволить». Лучше всего это можно было сделать посредством посылки отчисленного в командировку. При этом аванс, полученный в бухгалтерии, по не писанному правилу сдавался «буфетчику» – Ивану Уткину, заведующему отдела писем редакции, в прошлом директору Медынского молокозавода, проштрафившемуся в чем-то, но из «обоймы» райкомовской номенклатуры не выкинутого. А аванс на командировки являлся основой специфического фонда, хранителем и распорядителем коего значился «буфетчик» Уткин.

Однако, кого послать в командировку в данный момент в ближайший колхоз, на проезд куда денег тратить не нужно: – можно пешком дойти, а пообедать и поужинать у гостеприимных селян? Выбор падал, как правило, на самого молодого сотрудника – Гену Харлампиева. Кузькин поторапливал: «Давай, давай, Геннадий, иди, не мешкай». Геннадий, вожаделенно поглядывая на остаток спиртного в бутылке, не торопился, надеясь на «посошок». Наивный малый, никак не мог «дотумкать» он: его потому и отсылают в колхоз, чтобы оставшимся здесь побольше досталось.

Неспешность Гены гневил редактора. В конце концов он не выдерживал и грохал кулаком по столу:

– Да ты пойдешь в командировку или нет!?

Видя, что ничего «не выгорит», Харлампиев понуро плелся к двери.

Гену в редакцию взяли за стихотворство, а так до этого, числился он разнорабочим на мебельной фабрике. Помню, обмывали его вхождение в творческий, богемный коллектив. Выпили, что было – не хватило. «Гена, беги». Магазин напротив редакции. По типу сельмага продается в нем одним продавцом все имеющиеся товары – от керосина, гвоздей, сигарет и спичек до хлеба, сахара и вина. Рядом с торговой точкой райком партии. И надо же было случиться: в то самое время, когда снарядили мы Гену за водкой, в лавку заглянул первый секретарь РК КПСС Виктор Степанович Анискевич: кончились у него папиросы. Люди, стоявшие в очереди, кто за чем, почтительно расступились, что возмутило нашего нетерпеливого работника-гонца, болтавшегося в конце и не знавшего, увы, в лицо главного районного начальника. Гена поднял, что называется, «хай». Анискевич оторопел:

– Я штучный товар беру: папиросы, – как-то обескуражено стал он оправдываться.

– Мне тоже штучный товар нужен – бутылка, – моментально дерзко парировал глашатай справедливости.

– Ну, что же, берите, а я потом, – Анискевич виновато попятился от прилавка.

Чем правдоруб Гена незамедлительно воспользовался, чуть ли не вырвав из рук у растерявшегося продавца злополучную поллитровку.

Только мы разлили ее, как у Кузькина зазвонил телефон. Звонил первый (он проследил, что было нетрудно, куда шмыгнул нахаленок):

– Михаил, это у тебя, что ли работает рыжий черт?

Да-а-а... Пассаж. Оргпоследствий, тем не менее, из всего этого не последовало. «Отец Виктор» – так звали в народе первого секретаря Виктора Анискевича (между прочим жил в

Медыни еще один «Отец Виктор» – тезка партбосса – настоятель местного храма), знал натуру людей, с коими вместе шел в светлое будущее, знал, и палки в работе с ними не перегибал. На этом уровне партия и народ были в ту пору едины все-таки. Можно назвать сие как угодно – всепрощением, вседозволенностью, но... Начав свое повествование с размышлений о пристрастии советских людей к «горячительному», начав, как говорится за упокой, и продолжив будто бы за здравие – обязан заметить, что пили наши люди на том этапе развития своего, в отличие от нынешних времен, не от отчаяния, не от жестоких проявлений постоянно преследующей всех и вся катастрофы, а от избытка жизненной энергии, внутренней уверенности: живется не плохо, а вскоре станет – лучше. То было наше время и кругом находились в основном наши люди.

Затем, когда грянула черным громом беда – катастрофка, люди, помня, как налаживали они гармонию в душе посредством потребления хмельного, попытались тем же самым образом вернуть ее, убегаящую теперь, назад. Но на дворе стояло другое время, плескались другие напитки, галдели другие люди – выпивка не грела душу. Несмотря на все увеличиваемые дозы, она сушила сердца, ожесточала их, убивала тело. Началось национальное бедствие, всеобщее помутнение разума, добровольное сумасшествие.

Пытаясь восстановить в памяти происшедшее в жизни за последние двадцать пять лет, ловлю себя на мысли: они все перемешались в кишащем «броуновском» движении, беспрестанном кровавом кроссе, слились в жуткое темное пятно, нечто вроде малевичевского черного квадрата.

«Тайна – творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигается таинство нового.... Служитель (нового – Г.П.)... образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни, бегут еще дальше в глушь сутолоки!» Это, между прочим, слова самого Малевича, неплохо, кстати, характеризующие устремления «квадратного» художника-демократа, востребованного нынешними передельщиками в качестве разрушителя жизни, артиллерийского залпа, заставляющего обстреливаемых людей вжаться в землю своего окопа и сидеть там, скрючившись, не поднимая головы.

И странно, но прямо-таки безобидными выглядят сейчас почему-то события давних лет, те же проделки, творимые нами, когда бывали «навеселе», когда, не боясь ни райкома, ни райисполкома, писали в той же газете, что на душе лежало. И встают перед глазами те годы стройной, четкой и ясной чередой, не свиваясь в червивый, грязный комок теперешних дней.

...Иван Иванович Сорокин, директор совхоза «Мятлевский» – ярый в районе антикукурузник. Совещание в райсельхозуправлении. Реплика из зала: «Иван Иванович кок-сагыз у себя сеять готов, лишь бы не кукурузу». Хохот невероятный.

Надо сказать, что совхоз «Мятлевский» специализируется на выращивании овощей: томатов, огурцов. К концу лета, в начале осени жители Медыни, в том числе и местные начальники, норовят про запас, на засолку прикупить по низким ценам у Ивана Ивановича классные огурчики, кабачки, патиссоны. Пытаются они через некоторое время после злополучного совещания осуществить овощные закупки и ныне. Но Сорокин суров: «Нет у меня овощей. Кок-сагыз только».

Святые наивные души... Виктор Леонов, главный агроном одного из хозяйств, организатор в районе первых безнарядных звеньев. Беру у него интервью, которое ставим в номер спустя после встречи с агрономом через несколько дней. Но, чтобы подчеркнуть столь любимую нами, газетчиками, оперативность, предваряем беседу словами: «Вчера вечером наш корреспондент встретился с Виктором Леоновым». Наутро газету несут в киоски, подписчикам, но в первую очередь в РК КПСС. Там местную прессу штудируют – будь здоров, в чем, на сей раз, мы очень заинтересованы: прочтут материал о безнарядке, разумеется, отреагируют, отметят творческий коллектив. И «реакция» грянула.

– Где это встретился вчера вечером ваш корреспондент с Леоновым? В вытрезвителе, что ли? – гремел гневно в трубке редактора, лишь только появился он у себя в кабинете, голос первого секретаря.

Вот те на! Прославляемый нами новатор вчера, как выяснилось, лихо погулял в райцентре, попался в руки милиционерскому патрулю. Понятно, о выходках уважаемого, но непотребно пьяного товарища доложили куда следует. Мы на свою беду о злоключениях агронома знать не знали. Выдали оду ему в печатном органе и насмешили народ, прогневив высокое начальство.

...Николай Стариков, столяр с мебельной фабрики порезал фрезой пальцы на левой руке. Левая – не правая, решили лекари из фабричной медсанчасти и бюллетень пострадавшему не дали. Стариков, молодой горячий парень – к нам в газету. Мы тоже, молодые и горячие, быстро выдаем «на гора» фельетон о бездушии эскулапов, отказавших в больничном листе пострадавшему труженику. Сатирическую направленность выступления усиливаем саркастическим эпиграфом, который звучит внутренним монологом незадачливых медиков:

*Хороша штучка,
Болят ручка.
Есть, пить можно –
Работать – нет.*

Медицина повержена. Мы – на коне. Автору любовь и признание простого народа.

Через несколько дней после этого, шагая вальяжно до хаты довольно поздно, наскочил я на толпу медыньских ухарей-ребят. Им чего-то не понравился мой трезвый вид и приличный прикид. По всем признакам бузотерам очень хотелось почесать об меня свои руки. Наверное, это произошло бы, не раздайся вдруг зычный голос:

– О-О-О! Никак сам корреспондент, что Кольку Старикова защитил, нам повстречался.

Даже в вечерней мгле было видно, как обомлели, расплылись в улыбках подгулявшие парни, разом превратились из кичливых забияк в милых добродушных ребят. Ватагой весело, дружно проводили меня до самого крыльца дома, где доводилось снимать мне угол.

Ох, чего только не случалось тогда. Гена Харлампиев, укоренившись в редакции, мечтает вступить в партию, зазывает редактора в гости к себе, угощает. Жена Гены Юля, крупная, полная женщина хлопочет около стола. Кузькин в поэтическом настроении декламирует вдохновенно:

*Сижу ли я, брожу ли я –
Все Юлия да Юлия.*

Гена считает пора о деле начинать разговор. Но Гаврилыч, помня об инциденте молодого сотрудника с первым секретарем, неподкупно прерывает желание Гены: «Только через мой труп».

А через день, надо же случиться, в редакцию, проезжая из Юхнова в Москву, заскочил столичный поэт Левашов. Понятно, накрыли мы стол, взяли для публикации стихи у москвича. Тот в ответ, подобревший и разомлевший, в свою очередь попросил почитать ему наши произведения. Кое-какие из них взял с собой. В том числе стихотворение Харлампиева о Медыни, в котором рефреном, как песенный припев, звучала строка: «Мед, Медынь, Медынка, медоносы».

Не помню, через месяц или два после заезда к нам Левашова, слушаем мы по Всесоюзному радио концерт, транслируемый из московского Колонного зала Дома Союзов. Объявление ведущего: «Песня о Медыни. Слова Геннадия Харлампиева, исполняет Владимир Трошин!»

Немая сцена в гоголевском «Ревизоре» – ничто по сравнению с тем, что отпечаталось после сего объявления в нашем творческом коллективе. Гром среди ясного неба поразил, думается, всех медынцев, что слушали данный концерт.

«Песня о Медыни», записанная на пленку корреспондентами районного радиовещания, стала впоследствии лирическим гимном города, она предваряла все местные радиопередачи. А Кузькин, припертый к стенке безвыходностью обстоятельств, вынужден был сказать сокрушенно:

– Придется, видимо, брать Геннадия в нашу партию.

Интересные же встречи с интересными людьми продолжали иметь место и в дальнейшем. В один прекрасный вечер, после подписания номера в печать, сидим мы в кабинете редактора, толкуем о том, о сем. Глядь: под окнами тормозит белая «Волга». С обкомовскими номерами! Представительный, средних лет мужчина, с дипломатом в руках выскакивает с переднего сиденья, направляется в сторону редакции. И вот он на нашем пороге:

– Николай, – называет свое имя вошедший. Представляется по чину: – Помощник министра культуры СССР. – Поясняет: – Будучи в облцентре по делам, вспомнил, извините, поэта Алешкина, что был у меня перед командировкой. Заскочи, посоветовал он, в Медынь, к Кузькину, не пожалеешь. Видите, заскочил.

– М-да, – Кузькин делает кивок головой в мою сторону. Вскрываю с места и – к двери. Николай, вероятно, понял, куда поспешил я, останавливает:

– Я прихватил тут кое-что, – открывает дипломат, в котором квакают пара бутылок сухого.

– Несерьезно, – кривится Михаил Гаврилович. Я убегаю и скоренько возвращаюсь с водкой и колбасой.

Чокнулись, выпили, перешли на ты. Прямо, отцы русской демократии. Заговорили легко и свободно, словно старые «друзбаны». Решили выехать на природу, к озеру.

Шумели прибрежные ивы, березы, тихо плескалась зеленая вода у разутых ног, солнце клонилось к западу, рассыпаясь розовыми блестками на ласковых волнах.

Мы читали стихи, в промежутках провозглашая пышные тосты друг за друга. Женщина, пасшая недалеко корову, заслушалась, не вытерпела, подошла к нам:

– Ребята, как вы хорошо говорите-то. Не чета мужикам нашим. Напьются – мат-перемат.

Окрыленные народным признанием и любовью, поднимаем задравную чашу в очередной раз. Но для Николая, не привыкшего, похоже, к возлияниям в таком количестве, чаша сия становится роковой. Он обмякает.

В гостиницу из машины заносим его на руках. Благо служители двора постоянного хорошо нам знакомы, укладываем высокого гостя без хлопот в кровать.

Рано-рано утром, до начала работы, Кузькин примчался ко мне. Распоряжается:

– Дуй за Колей, опохмелить надо.

Бегу. Встретившаяся дежурная умеряет мой пыл сообщением:

– Гость ваш ночью еще съехал.

О-хо-хо. Представляю: очнулся, небось, важный чиновник, осознал ситуацию, схватился за голову и в бега со стыда подался.

Рассказываю о случившемся Кузькину. И тут раздается звонок. На проводе – Анискевич:

– Михаил, из обкома сообщили: к нам будто бы вчера вечером помощник союзного министра культуры выехал. Надо встретить. Культурную программу, обед организовать. Расходы берем на себя.

– А мы уже встретили его с Генкой.

– Как? И что?

– Ничего, водкой напоили, колбасой накормили, уехал довольный.

Слышно, в сердцах Виктор Степанович бросает трубку.

Прошло недели две. В редакцию с почтой приходит пакет с министерским грифом. Открываем – письмо от «друга Коли». И стихи – «Сон о Медыни».

Стоит ли говорить, что мы их сразу же заверстываем на первую полосу. А наутро – звонок от первого:

– Слушай, редактор, что за хренотень ты печатаешь? Такого и во сне не увидишь. Какие это у нас через Медынку, которую воробей вброд перейдет, мосты горбатые перекинулись? Где ты такого ненормального автора откопал?

– Так это же Коля.

– Какой такой Коля?

– Помощник министра.

В трубке молчание.

К концу недели Гаврилыч едет в Москву, везет в министерство культуры Союза несколько газетных экземпляров со стихами Николая – едет в надежде на шикарный прием. Возвращается, однако, будто оплеванный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.